Кривулин Виктор

14.06.2001

НЕКРОПОЛЬ

Независимая газ. – 2001. – 14 июня. – С.14.

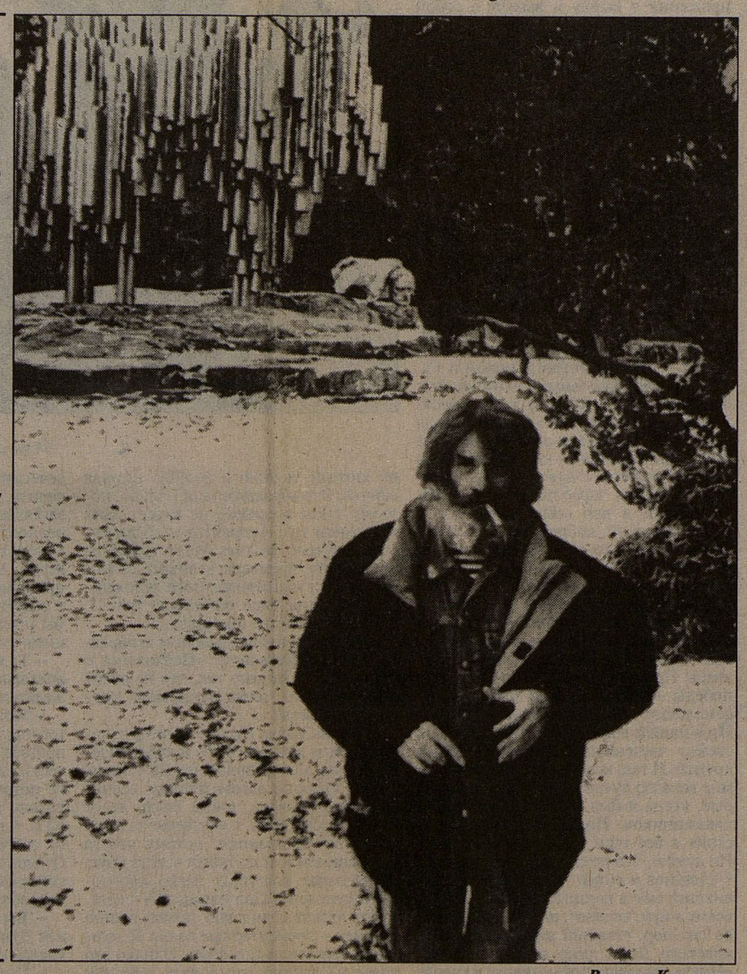
Сергей Шаповал

Голос из прошлого

«Я ИЩУ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ КРАСОТЫ...»

Виктор Кривулин о литературе, жизни и судьбе

В этом году ушел из жизни Виктор Кривулин, питерский поэт, прозаик, филолог, эссеист. Многообразие талантов позволяет без сомнений зачислить его в когорту деятелей культуры. Виктор Борисович – один из самых ярких представителей андерграунда 70-х, создатель и персонаж бесчисленных легенд и историй. Обаяние его личности было мощным и общепризнанным, не принимавшие его поэтику относились к нему как к самоценному культурному явлению... Публикуемое ниже интервью состоялось в начале 1993 года. Это был период господства апокалиптических настроений: всерьез говорили о гибели литературы, наступлении «чернухи», разложении ценностей и пр. По прошествии времени анализ культурной ситуации, прогнозы на будущее всегда интересны, но они интересны вдвойне, когда говорит талантливый человек.



Виктор Кривулин. Фото автора

– ВИКТОР БОРИСОВИЧ, расскажите, пожалуйста, о себе.

– Я родился 9 июля 1944 года в Краснодоне, где мой отец был комендантом города. Происхожу из потомственной офицерской семьи: дед был военный, отец всю жизнь был в армии, начал воевать еще в первую мировую, брат с четырнадцати лет военный, сейчас полковник в отставке. Семья уехала из Ленинграда в 1943 году после первого прорыва блокады, отца перевели на 3-й Украинский фронт. Уехав, они решили никогда сюда не возвращаться после того, что видели здесь. Воспоминания были страшные. Но потом я заболел, и семья вернулась в Ленинград. Здесь были врачи, была надежда, что меня вылечат. С 1947 года я живу в Ленинграде и воспринимаю его как свой родовой город, с которым я связан не только жизнью, но и корнями. Учился я на филфаке. Это было сложно: учился на итальянском отделении, потом на английском, окончил русское. Университет окончил со скандалом, потому что меня угораздило подать заявление о выходе из комсомола. Я вдруг понял, что не хочу никак участвовать в этом деле. У меня вся жизнь складывалась на пороговых ситуациях. В начале 60-х довольно активно печатали мои стихи, а главное – это было время, когда ленинградская писательская организация пыталась создавать молодежный актив, и всех делили на чистых и нечистых. Передо мной был выбор: либо я принимаю правила этой игры, либо – привет. Я понял, что писать и играть по этим правилам совершенно для меня невозможная вещь. Второй момент был в университете, когда я должен был выбирать между научной деятельностью и поэтической. Эту альтернативу передо мной поставил мой университетский учитель **Дмитрий Евгеньевич Максимов**, в то время один из крупнейших специалистов по началу XX века. Я выбрал, естественно, литературу, и следствием этого выбора было решение выйти из комсомола. Началось дело, подали на мое отчисление, на меня стали давить мои друзья, я написал хамское заявление, что хочу обратно в комсомол, потому что без него не сделаешь карьеру. Потом мои бумаги потерялись, началась советская игра, очень напоминающая перестроечные игры. После университета я полтора года никуда не мог устроиться на работу, у меня был «волчий билет», потом работал в школе за городом, натурщиком. Особенно я не беспокоился, потому что у меня были частные уроки. В принципе, я этим всю жизнь зарабатывал деньги и сейчас продолжаю. Преподаю литературу в гимназии, но это не за деньги, у меня их больше уходит на такси. Сейчас регулярно публикуюсь в газете «Frankfurter Allgemeine».

– Я хочу попросить вас вспомнить «застойные» годы. Что это такое в ваших воспоминаниях и ощущениях?

– Сейчас есть разные точки зрения, возникает даже ностальгия по этому времени. У меня вообще никогда ностальгии по золотому прошлому не было. Скорее ностальгия была по другому – по Серебряному веку, по ощущению культуры как чего-то живого, по атмосфере, окружавшей людей, по творческому импульсу в людях. И в этом смысле, я считаю, та внутренняя задача, которая у меня была (я, в общем, человек холодный и рациональный), в какой-то степени была мною реализована. Все, что происходило в конце 60-х – начале 70-х годов, для меня было основано на той мысли, что, если нам не удастся создать атмосферу, ауру жизни, инкапсулироваться в советской действительности, создать какую-то особую культуру, то мы просто не выживем физически, а, главное, духовно.

– И вам это удалось?

– Я считаю, что нам это удалось. Более того, миф о культуре брежневской поры – независимой, неофициальной – возник именно благодаря тому, что такая атмосфера создавалась не только мной, а разными людьми. Оказалось, что много людей заинтересовано в этом. Это была система фактически коллективного выживания. Для человека, независимого от официоза, здесь создавалась своего рода другая зависимость и взаимозависимость, гораздо более мягкая, неформальная, имеющая то свойство, которое имеет всякая взаимозависимость людей, вписанных в культуру, а именно человеческого контакта, человеческого общения. В этом смысле все удалось. То, что хоть несколько человек выжили из тысяч, которые тогда были, является некой заслугой этой атмосферы. А выжило очень мало, выжил в творческом смысле, может быть, каждый сотый. В принципе была трагическая ситуация: люди сходили с ума, кончали с собой, нелепо погибали, прекращали заниматься творчеством, опускались, спивались. Я знаю много неосуществленных судеб. 60–70-е годы для меня ценны тем, что тогда существовало очень много возможностей, как ни странно. При той жесткой ситуации была возможность умереть, жить ради смерти, была возможность попытаться найти баланс между жизнью и смертью, была возможность приспособиться. Каждая из этих возможностей достигалась колоссальным трудом.

– Сейчас выбора меньше?

– Сейчас в обыденной жизни у нормального человека больше выбора, чем у человека, связанного с культурой. Тогда было наоборот. Я начал говорить о своей жизни именно с точек выбора, потому что мне действительно приходилось делать выбор – принимать решение, после которого дальше я не сомневаюсь до какого-то момента. Выбирать приходилось довольно часто и радикально. Скажем, общаться с этим человеком или не общаться, писать так или писать так, ехать на Запад или не ехать. Я думаю, что люди моего круга были первыми, кто столкнулся с огромным количеством вариантов жизни, и кого-то это тогда уже добило. Выбирать значит отрезать, лишаться чего-то. Мы выбирали, отрезая куски жизни, но мы продолжали жить в том же обществе, которое было лишено выбора. Для нас это оставалось внутренней реальностью, внутренним правом.

– Это было своего рода аристократическое существование?

– Бесспорно, это было аристократическое существование, или, вернее, игра в аристократическое существование. Аристократия – это власть, деньги и духовная элита, а здесь ни первого, ни второго не было. Мы были нищие люди, это сказывалось на поведении, на отношениях. Нищета преследовала нас, в конце концов мы довели свое существование до того, что перестали ее замечать. Это эскапизм называется, а не аристократизм. Мы бежали от действительности и создавали другой мир, и, как я сейчас вижу, он оказывается более реальным, чем тот мир, в котором мы жили. Фантастический, выдуманный мир сейчас реализуется. От этого мне становится несколько страшновато. Общее направление было направлением восторженной чернухи. Сейчас, когда говорят «чернуха, порнуха», забывают, что это было восторженное открытие того, что может быть чернухой. Это было действительно открытие другой стороны существования, и в этом состоянии было освобождение, восторг. Сегодня, когда мы сталкиваемся с чернухой, мы еще и еще раз убеждаемся в одном и том же: мы говорим о том же самом, о чем говорим в жизни, мы уже не знаем, где грань между рассказом **Сорокина** и двором, где писают десять подростков, к которым ты боишься подойти, потому что они тебя убьют или не знаю что отрежут. Нынешнее состояние лишено восторга открытия. Это нормально, это правило, и поэтому страшно.

– У вас в связи с этим не возникло разочарования?

– У меня был момент резкого разочарования в начале перестройки, когда я вдруг услышал свои слова в другой артикуляции – из уст дикторов первой программы телевидения. Перемена артикуляции меня на какое-то время поразила. Мне очень не нравится то, что я писал с 1986 по 1989 год. Это была резкая реакция, брюзжание, и, самое главное, я утратил второй план, который всегда был. Я считал, что необходимо так реагировать, потому что я был так приучен в «эпоху застоя» – выживание требовало немедленной реакции, как на допросе в КГБ.

– Кстати о КГБ. Были у вас неприятности с этим заведением?

– Были, конечно. Но и худого слова о них сказать не могу. Были неприятности, и обыски были, и слежка была. Я работал в одной медицинской конторе, они следили за тем, чтобы я вовремя ходил на работу. Были так называемыеы профилактические беседы перед каждым праздником. Это была игра, где каждый знал свое место.

– В Москве некоторых писателей заставляли подписывать прокурорские предупреждения по поводу публикаций на Западе...

– Я ничего не подписывал. Я сдал властям два журнала, отказался от их выпуска. Если бы у меня был соредактор и если бы я знал, что есть читатели, я бы этого не сделал. Но был момент, когда, по-моему, эти журналы себя исчерпали, и это совпало с желанием КГБ.

Я редактировал два журнала: «37» и «Северная почта». Ситуация была такая, что уехали авторы, с которыми я работал, оказались под прессингом те люди, с которыми я продолжал работать, и, главное, что почти весь читатель слинял. Поскольку эти журналы не политические, а культурные, они были рассчитаны на расширение читательской среды, а происходило ее реальное сужение. Это 1981 год, довольно тяжелый, накануне смерти **Брежнева**, потом 1982-й – начало андроповского периода, когда арестовывали людей, и я был на грани ареста. У меня была альтернатива, которой, я думаю, ни у кого не было. Они мне предложили: если вы хотите жить нормально, сотрудничайте с нами – поезжайте на Запад, можете не предоставлять нам никакой информации, вы просто подпишите бумагу, что с нами сотрудничаете, и познакомите нашего человека с кем-нибудь из редакции «Континента», если нет, тогда – тюрьма, и демонстрировали мне ордер на арест. Меня не устраивал ни один из этих вариантов. Садиться я не хотел. Я не герой, не было радости сидеть в инвалидном лагере и просто времени жалко. С другой стороны, ехать и тем более помогать этим господам я тоже не хотел. Я долго искал и, в конце концов, нашел третий вариант, которого они не предполагали. Я просто просчитал их логику. Это происходило накануне XXVI съезда, обычно перед съездом они делают региональные отчеты, и им нужно, чтобы в Ленинграде никого уже не было, и я понял, что мне не нужно ничего делать, нужно просто исчезнуть. Я исчез на две недели и появился накануне съезда, когда они уже ничего не успевали.

– Как вы для себя разрешили проблему эмиграции?

– В общем-то я решил не ехать, хотя, повторяю, я не герой, и у меня в столе все время лежал вызов на всякий случай. Но в принципе я понял, что им воспользоваться нельзя. И понял это благодаря контактам. Многие прерывали контакты с уехавшими, а у меня почти каждый день были телефонные разговоры, прямые, откровенные. Это были, к примеру, люди, работавшие в НТС, которые мне рассказывали об этой организации. Я обладал информацией, которую здесь мало кто имел. Поэтому особых иллюзий у меня не было. И по поводу того, что меня ждет на Западе, с одной стороны, и по поводу того, что такое русская поэзия для Запада: во второй половине 70-х мне стало понятно, что это никому не нужно и что вряд ли мне само́му эмиграция даст что-то новое. Это еще и проблема языка, для меня язык – это очень многое. Отсюда проблема выбора страны: если я хочу жить в Америке, то не важно, хорошо ли я знаю английский, но в Америке я не хочу жить, я хочу жить в Европе, а в Европе иначе относятся к языку, это показатель социальной страты, я не хочу там быть каким-то полинезийцем и объясняться на уровне «твоя-моя», что является характерной чертой всех русских за границей.

И потом, я убежден, что если бы не было массовых отъездов, то история России вообще сложилась бы по-другому. Если бы общественное мнение, которое создавали уехавшие на Запад, присутствовало здесь, то совершенно иначе развернулась бы ситуация: не было бы ни инфляции, ни такой ситуации в экономике и многого, что мы сейчас имеем. С одной стороны, уезжало интеллектуальное отребье, но, с другой стороны, уезжали люди очень способные в деловом плане. Я имею в виду экономическую эмиграцию. Уезжали люди с определенными представлениями о чести. Другое дело, что у них там изменились эти представления, они столкнулись с совершенно иной ситуацией и стали более или менее удачно в нее вписываться. В России господствует другая этическая система, то есть другая система отношения к людям. Уехала наиболее активная часть, генофонд культуры, те, кто обеспечивал «кровоток». Это убеждение возникло у меня еще в начале 70-х. Когда уходит интеллектуально ориентированная часть общества, она обнажает культурный слой, и так достаточно бедный. Уходя из этой зоны зла, люди спасаются, но, с другой стороны, делают зло более безнаказанным, предоставляют ему большую свободу маневра. Сейчас все разговоры о культуре абсолютно бессмысленны, потому что те люди, которые воплощают русскую культуру, не являются в высоком смысле слова даже носителями этой культуры. Скажем, академик **Лихачев**, он нормальный ученый средней руки, и может даже ниже средней, он нормальный интеллигент ниже уровня губернского учителя гимназии, ниже.

– А кто, по-вашему, мог бы воплощать русскую культуру?

– А я не знаю кто.

– Вы думаете, они уехали?

– Многие оказались там. Уехали такие люди, как **Пятигорский**, **Роман Тименчик** – единственный человек, который знал все о начале века, он сейчас в Израиле; **Лазарь Флейшман** – тоже один из крупнейших специалистов в этой области. Я уж не говорю о том, что все это люди, связанные с **Синявским**, который таким же образом переехал на Запад. Я уж не говорю о круге **Бродского**, который почти весь перекочевал туда. Но меня интересуют не столько высшие представители, сколько те, кто является носителем культуры, кто составляет культурную среду, то есть некий эпителиальный слой. А те, кто остался (а остались достаточно крупные, серьезные люди, скажем, **Гаспаров**, **Аверинцев**, **Мелетинский**, **Вячеслав Всеволодович Иванов**), либо работают на Западе, либо не имеют школы – вот что существенно. Это такие одинокие зубы, торчащие в обеззубевшем рту. Культура – это не отдельные представители, это умонастроение общества. Культура – это не **Толстой**, а какой-нибудь сельский толстовец. Этот слой весь отхлынул, русский он, еврейский – неважно. Это были люди, ориентированные на мировой смысл русской культуры.

– Я предлагаю поговорить о вашем творчестве. Кем вы себя считаете в первую очередь – поэтом или прозаиком?

– И не тем, и не другим, если иметь в виду современное значение этих слов. Но все-таки больше поэтом в том смысле, какой вкладывали в это понятие еще греки. Поэт – это человек, который делает, совершает нечто существенное, существующее. Мне совершенно неважно, что я пишу: стихи или статью, делаю какой-нибудь журнальный обзор или урок веду. На все это уходит одна и та же энергия. Ты принимаешь правила, по которым идет игра, а затем обнаруживаешь возможность для изменения этих правил. В этом смысле для меня поэзия наиболее чистая возможность менять формы лирически-игрового состояния жизни. В то же время я думаю, что в поэзии привлекательнее вещи, когда сам поэт не до конца понимает, что он делает. Что-то на грани сна, бессмысленные, бессознательные ситуации, которые я фиксирую в стихах. Я в детстве не знал поэзии и очень поздно с нею познакомился, но у меня всегда было состояние какой-то грусти, тоски и неизбежности, иными словами, состояние поэтическое.

Это состояние, которое схватывает не то, что сейчас происходит, а вещи в их возможном конечном варианте, возможной конечной судьбе. Каждая вещь переживает процесс разрушения, разрушается, а потом возвращается туда же, где она стоит сейчас. Это ощущение соприсутствия будущего и прошлого. Это странное ощущение, у меня оно впервые возникло именно в Ленинграде. Чисто петербургское ощущение – чувство, что эти улицы, комнаты надышаны, нахожены, что здесь действует давление тех жизней, которые прожиты. Надо сказать, что в Москве этого не ощущается. Там как бы все заново начинается, с нуля. Это безумие, кошмар московской культуры: идея, что можно начать все заново и пошло-поехало, а с другой стороны, колоссальный консерватизм, граничащий с автоматизмом; все заново каждый раз, и начинается именно так, как в прошлый, позапрошлый раз, по тем же законам, по тому же витку. А здесь нет, здесь жизни как бы присутствуют и в то же время их нет. И это ощущается в архитектуре, в устройстве города, в системе человеческих отношений. Стихи возникали как обозначение этого состояния. Сначала я не мог, не умел найти нужные слова – не то чтобы город населен тенями, но я прекрасно понимал уже тогда, что те слова, к которым я привык, были сказаны, и ценность их в том, что они когда-то и кем-то были сказаны.

– Вы пишете ради создания некоего продукта или ради поддержания состояния, о котором вы говорили?

– Тут много импульсов. Есть импульс достаточно рациональный – создать продукт, но он уже приходит потом как следствие работы. Сейчас я пишу долго, мучительно (раньше это было гораздо легче), именно потому что я хочу создать продукт, максимально лишенный общих мест, которые есть в созданных рядом вещах, создать свой продукт, маркированный моей стилистикой. Другая сторона – это сохранение определенного состояния. В принципе я убежден, что поэзия, в отличие от литературы, есть некое словесно несхватываемое содержание, некий смысл, который вы никогда словесно не обозначите, иначе не надо было бы писать стихи. Это некое ритмическое состояние (ритм обязателен, даже если это верлибр, там ритм должен быть графический), с которым вы в той или иной степени входите в резонанс, начинаете с ним соотносить себя. Это состояние не магическое, не мистическое, но оно странным образом выключает человека из потока времени, в котором он живет, и оно дает возможность жить одновременно и в прошлом, и в будущем не в воображении, а в реальности. Для примера приведу такой случай. Это было в конце 60-х, накануне 7 ноября я шел ночью по улице и нес вино, было скользко, я поскользнулся, упал, разбил бутылку и порезал руку. Я замотал ее платком и посмотрел, хорошо ли она затянута, и когда я посмотрел, меня просто взял ужас. Недели за две до этого я написал стихотворение, где описывается некая страшная ситуация: над черно-красным городом с какими-то белыми вкраплениями стоит монотонный гул, и ощущение набухшести кровью проявляется в том, что герой поднимает голову и видит над городом руку, замотанную грязной тряпкой, с которой капает кровь. И когда я поднял свою руку, с которой капала кровь, раздался ровный гул, довольно страшный, но легко объясняющийся, потому что шла техника на парад. Из-за угла выехал БТР с белыми знаками гвардии... Имеет ли ценность то стихотворение? Думаю, нет. Имеет ценность это состояние. Для меня этот текст неинтересен, потому что поэтически он оказался рыхлым, но от этого соотношение между реальностью и текстом, фиксирующим эту реальность, не перестало быть существенным и важным.

Теперь о прозе. Прозу я давно пишу. Вначале это были короткие рассказы, их постигла трагическая судьба: они были в одном экземпляре, и моя мама взяла и выстирала их вместе с моими штанами. На самом деле это было лучшее, что я написал. Потом несчастный роман «Шмон», часть которого напечатана в «Вестнике новой литературы». С прозой мне не везет, «Шмон» я переписывал трижды. Я почти его заканчивал, когда у меня его взяли на обыске. Я сел и слово в слово его повторил, но, поскольку темой является обыск, он разросся за счет того, что туда вошли элементы реальности: судебные протоколы, фамилии следователей, то есть там появилась совершенно другая ситуация. Как только я дошел до того места, на котором остановился первый раз, ко мне пришли со вторым обыском и опять забрали все. Я пытался заканчивать. Второй вариант мне отдали. Поскольку он там побывал, мне над ним работать никакого кайфа уже не было. Я плюнул и так его и оставил. Это тоже, кстати, предчувствие. Но, я думаю, в этом и есть литература, то есть она существует не как зеркало, фиксирующее наше состояние, а как некая параболическая конструкция, которая притягивает к себе события. Есть еще одна повесть, напечатанная в «Континенте», которая почему-то нравилась **Максимову**, – «Записки сукиного сына». Отчасти свои прозаические идеи я реализую в статьях, я их пишу как прозу, это, скорее, эссе.

– Нетрудно заметить, что вы разделяете московскую и ленинградскую литературы. В чем, по-вашему, их различия?

– Сейчас об этом очень трудно говорить. Был момент, когда, условно говоря, эти две школы слились. Для меня очень важным было влияние концептуализма, к которому я сам подошел с другой стороны, иначе, чем **Пригов** и **Рубинштейн**, и их открытие для меня было существенным. Тексты **Сорокина** – это уже продолжение, развитие того приема, который был у **Пригова**, следующая волна.

С прозой я закончил по одной простой причине. На самом деле проза – это герой, какая-то фигура. Парадокс в том, что мы все строили на принципе дегероизации, на распаде. Чернуха сейчас уже не удовлетворяет, этого уже мало. Если в ней был элемент опасности и восторга в начале 80-х, то сейчас этого уже нет. А что такое новый герой, я не знаю. Если я буду иметь представление о человеке, который сейчас существует, мне будет все равно, что писать – стихи или прозу.

Проза – это читатель, это потребность читателя в литературном осмыслении своей жизни, а не писателя. Прозу пишет поэт **Карамзин**, потому что возникла категория читателя. А что такое читатель? Читатель – это человек, для которого литература не просто является законом жизни, а стоит выше жизни, определяет жизнь.

– И вы считаете, что читателя нет?

– Нет. Чего точно нет, так это такого читателя. Есть читатель, который ищет подтверждения своим жизненным впечатлениям – сексуальным, социальным, нравственным, либо есть читатель, который ищет отдыха от этих впечатлений.

– Вы сторонник точки зрения, что литература умерла или умирает?

– Нет. Я думаю, что она может принимать иные формы. Именно литература, я не говорю здесь о поэзии. Как ни странно, сейчас поэзия, которая, казалось бы, никому не нужна, может сыграть какую-то совершенно неожиданную роль.

– В чем, по-вашему, разница между литературой и поэзией?

– Когда я говорю о поэзии, я говорю о состоянии, в котором соприсутствует и прошлое, и будущее. Литература же вынуждена выстраивать мир по законам обыденного, играя временами, но все равно подразумевая единственно «реальную» хронологическую расположенность событий. В любом прозаическом произведении присутствует вектор, по которому время движется в одном определенном направлении. А в нашей ситуации может быть проза с таким временным вектором? Да ее нет! Ее просто не может быть, потому что время здесь и сейчас движется по совершенно другим законам. Реальность просто перекрывает литературу, она более игровая, рельефная, чудовищная, чем любая проза, которую вы придумаете. С другой стороны, если проза ставит перед собой языковую задачу, как у **Сорокина**, это совершенно другая ситуация, это уже не проза. Это грань с поэзией, потому что задача, которую ставит **Сорокин**, по сути поэтическая или, точнее, мифопоэтическая. Я убежден, что проза возникает тогда, когда возникает концепция истории. **Достоевский**, **Толстой** – это концепция истории, это историзм. Сейчас одно подозрение, что наше бытие определяется историей, приводит человека в состояние омерзения. Мы не имеем позитивного ключа. Проза рассматривает границу человеческого внутреннего мира (это почти грань психоанализа) и его внешнего состояния. Это сфера литературы. Все попытки создать прозу, посвященную только внутреннему миру человека, просто разрушают саму прозу. Это сейчас видно по судьбе структуралистских романов. А там, где возникают исторические связи, даже структуралистские произведения выживают и оказываются наиболее успешными. Скажем, роман **Умберто Эко**.

Есть другой тип прозы, тоже достаточно уже профанированный, – проза действия, условно говоря. Это **Лимонов**, который вынужден уже не столько писать, сколько стрелять в Приднестровье или Сараево, чтобы читали его книги. Это меня тоже не устраивает. Представить себе успешное русское концептуальное произведение наподобие «Имени розы» **Эко** или «Хазарского словаря» **Павича** я не могу. Проза не может быть неинтересной. Я не могу читать глубокую советскую прозу, начиная с **Пастернака** – она неинтересна. Мне хочется от прозы скорее не открытия, а закрытия, то есть хеппи-энда, даже такого, как в «Имени розы». Чаще всего ощущение, что прозаик не может кончить. Могут быть неплохие куски, но в принципе конец не меняет меня радикально. Я думаю, что для прозы, как и для античной трагедии, момент катарсиса, перерождения – не героя, а именно читателя – должен присутствовать. Такая же ситуация была в 80-е годы XIX века. Кто остался от этой прозаической ситуации? Кого мы знаем? **Чехова** знаем. Ну вот наш **Чехов** – это **Сорокин**.

– Если кто-нибудь вас назовет эстетом, вы согласитесь с этим?

– Вы знаете, я не понимаю сейчас деления на эстетов и неэстетов. Для меня формой эстетизма является необыкновенный интерес, который я не могу в себе преодолеть, к тому, что называется массовой продукцией – к американским боевикам. Мне невероятно интересно смотреть, как классические высокие мотивы приобретают плоскую форму. Для меня они уже перестают быть плоскими. Вроде бы это демократическая культура, но я в ней вижу другие возможности. Можно сказать, что я эстет? Может быть. Меня сейчас интересует проблема заказного искусства, проблема заказа – коммерческого, социального – и исполнения или неисполнения его. Просто я ищу некие возможности для выживания красоты, прекрасного, интересного... ■

Санкт-Петербург, 11.02.1993 г.

ОН БЫЛ ПОЭТОМ...

Дмитрий Пригов

ДЛЯ МЕНЯ с Виктором Борисовичем связано сейчас уже почти ушедшее, но тогда актуальное противостояние Москвы и Питера. Оно проходило по многим линиям соприкосновения, но основным было противостояние литературное: главной своей trade mark Питер считал именно литературу, там существовало сознание, что именно в Питере возможна настоящая русская литература, что именно там длится последовательное рукоположение. Примерно так: **Блок** рукоположил **Ахматову**, **Ахматова** рукоположила **Бродского** и всю «бродскую плеяду», те рукоположили следующее поколение. Ахматовские воспитанники в конце концов разъехались – кто в Америку, кто в Москву, в Питере осталась новая генерация, в которой способностью наследовать классической линии явно выделялись Кривулин и **Елена Шварц**. Они и стали столпами питерской словесности и носителями питерского духа.

В XX веке все коммуникационные каналы строились через Москву, здесь были все деньги, власть, сюда стали переезжать деятели культуры и т.д. Жить в Москве стало равным возведению в дворянство, питерцы стали дворянством провинциальным. В отношениях с Москвой у них стали сквозить проявления малой нации относительно большой – горделивость и завистливость. Я это отмечаю как факт, нисколько не вкладывая уничижительного значения. В Питере было распространено пренебрежительное отношение к Москве, в Москве – к Питеру, его квинтэссенция – шутка: есть стихи хорошие, плохие и питерские. Повторяю, я говорю об этом, как о бытовавших настроениях, меня я всегда интересовали чисто человеческие отношения...

С Виктором Борисовичем я познакомился в 1975 году, когда случайно попал на чтение в Питере. Выступал он и еще пара питерских поэтов, потом я. Мои стихи для них были примитивными и неинтересными, система оценок у них была достаточно выстроенной, поэтому восприняли меня единодушно. Но мы были людьми достаточно молодыми – мне было 35, им около 30 – и человеческие отношения сложились вне зависимости от эстетических пристрастий. В следующие свои приезды я стал бывать у него, узнал всех его жен. Меня в те поры величали не иначе как «взбесившийся графоман», но, как показывает опыт, все недопонимания, разность взглядов на 90 процентов скрадываются хорошими личными отношениями. Поскольку у нас с Кривулиным сложились хорошие отношения, я стал более внимательно его читать, и он стал ко мне относиться более терпимо. Мы стали интенсивно дружить.

Виктор Борисович был очень открытым, легким и фантазийным человеком. Он все время рассказывал какие-то безумные истории. Как-то мы с **Рубинштейном** приехали в Питер, и он нам стал впаривать историю о том, как его знакомый, напившись, ночью шел по городу, провалился в открытый люк и попал в огромный освещенный завод, на него двигалась чудовищная машина на пяти лапах, он в ужасе обнаружил, что это тайное производство супертехники и пр. **Рубинштейн** послушал и говорит: «Виктор Борисович, но это же туфта». Он со смехом согласился. Но минут через пять начал рассказывать новую историю, подобную первой. Это был бескорыстный враль. Но это не значит, что он сидел и выдумывал всякие небылицы, они рождались у него в процессе общения. Его просто заносило. Он был очень смешлив и удивительно болтлив, что в данном случае я отмечаю как положительное качество.

В свое время Виктор Борисович зарабатывал подготовкой школьников к университету. Позднее он много печатался в Финляндии и в Германии, большие его статьи достаточно регулярно публиковала «Frankfurter Allgemeine». Все это позволяло ему жить безумно богемной жизнью. Надо учитывать, что он был инвалидом – передвигался при помощи костылей, но его мобильности многие могли только завидовать. При этом он даже не подразумевал никакой поблажки себе как инвалиду. Напиваясь, он бессчетное количество раз падал, он умел над этим смеяться и ни у кого не вызывал ни малейшей жалости по отношению к себе. Он обладал фантастической легкостью натуры. Очень многие преклонялись перед его умением жить без всяких скидок на серьезную инвалидность.

Его любили многие женщины, у него было много жен. Для кого-то это загадка, для меня ответ ясен: это русские женщины. Русская женщина любит талантливого мужчину, она готова окружить его почти материнской заботой. Виктор Борисович был очень талантлив и невероятно обаятелен, он находился в самом центре питерской богемы. Женщины очень быстро переставали обращать внимание на его костыли. Он был Поэтом. Для русской действительности это очень много значит.

Я не могу сказать, что мне близка поэтика Кривулина, это и неважно. Виктор Борисович был Личностью, практиковавшей яркий и интересный тип поэтическо-художественного поведения. У меня о нем остались очень светлые воспоминания... ■

64